



С. К. МАКОВСКИЙ

Последние годы Владимира Соловьева

Говорить о Владимире Соловьеве (и о человеке и о поэте-мыслителе) дает мне некоторое право то, что для меня живет он не только в своих и о нем написанных книгах. Я знал его лично в годы моей юности, воспринял живой его образ, такой удивительный и внешностью, иконописно-пророческой, и пронзительной духовностью. Целый месяц встречался с ним изо дня в день в 1895 году, видел и позже, притом в дружеской семейной обстановке, располагавшей Владимира Сергеевича к откровенности. Я разумею семью Ауэр, о которой я вспоминаю в моей книге «Портреты современников», рассказывая, как судьба свела меня с Соловьевым и датским критиком Георгом Брандесом у Рауха, в пансионе близ Иматы, куда приезжал работать из Петербурга сорокадвухлетний тогда (хоть и казался гораздо страшнее) Соловьев и где проводили Ауэры лето: Лев Семенович (знаменитый скрипач), жена его Надежда Евгеньевна, женщина донельзя обаятельная, умственно и душевно чуткая, и их четыре дочери. В качестве «друзей детства» девочек Ауэр прожили мы тогда с моей сестрой Еленой, начинавшей художницей, весь август в этом финляндском пансионе.

Здесь, на берегу озера Сайма, «где самые звуки звучат тишиной, не смущая безмолвной отрады» *¹, после почти двадцатилетнего перерыва возобновились отношения Надежды Евгеньевны с Соловьевым. Еще в 1876 году, доцентом Московского университета в заграничной командировке (после защиты диссертации против позитивизма — «Кризис западной философии» и знаменитой поездки в Египет на «свидание» с «Божественной Софией»), он встретил Надежду Евгеньевну в Италии. Совсем юная тогда, она путешествовала с одной из своих приятельниц.

* Из стихотворения, посвященного Соловьевым Н. Е. Ауэр.

Вместе поднимались они на Везувий. По дороге Соловьев упал с лошади, спасаясь от пристававших к нему мальчишек-проводников, ушиб ногу, должен был отлеживаться в неаполитанской больнице. Надежда Евгеньевна не без юмора рассказывала о необыкновенно расточительной его щедрости и полной непригодности к практической жизни. В ее рассказе звучало и воспоминание об уходе за нею молодого, легко воспламенявшегося доцента (он и сам вспоминает об этом увлечении в письме к брату Михаилу²). Существует мнение у биографов Соловьева, что был он знаком с Н. Е. и раньше³, четыре года до того, на итальянской Ривьере, — с нее будто бы написал героиню Жюли в своей ранней повести «На заре туманной юности». Но об этом я ничего не слышал от Ауэров.

Летом 1895 года, у Рауха, Соловьев дружески сошелся с Надеждой Евгеньевной, и эта умственная близость оставалась неомраченной в его последние годы. У меня создалось впечатление, что ни с кем не общался он так душевно-просто, никому не поверял чистосердечнее своих тайных дум и невероятнейших духовных «приключений». А из этих приключений, из этого мистического опыта, если угодно, и вырос христианский эзотеризм Соловьева, развитый им при помощи блестящей диалектики в очень сложное учение о Богочеловечестве и о св. Софии Премудрости Божией.

Н. Е. Ауэр была одной из тех, кому он верил и кому доверял свои таинственные видения. Искушенная во всех тонкостях интеллектуализма конца века, она восторгалась гениальностью Соловьева, умела его слушать и ничему не удивлялась. После Рауха он часто навещал ее и в Петербурге (больше по вечерам), чтобы поделиться мыслями и рассказать о являвшихся к нему запросто призраках... Он любил говорить о мире загробном. Может быть, уже предчувствовал смерть? В одном стихотворении с посвящением Надежде Евгеньевне так передает он ответ сердца на зов умерших:

Что ж он пророчит мне, настойчивый и властный
 Призыв родных теней?
 Расцвет ли новых сил, торжественный и ясный,
 Конец ли смертных дней?

Но что б ни значил он, привет ваш замогильный,
 С ним сердце бьется в лад,
 Оно за вами, к вам, и по дороге пыльной
 Мне не пойти назад⁴.

После Финляндии, возвратясь в Петербург, я продолжал дружить с Ауэрами, бывал у них постоянно на Крюковом канале,

заслушивался Надежды Евгеньевны, посвящавшей меня и мою сестру Елену Константиновну в новейшую французскую литературу. Она делилась и впечатлениями о Соловьеве, говорила о его видениях. Благодаря ей я понял многое в «Оправдании добра» (Владимир Сергеевич читал отрывки из этой готовившейся тогда к печати книги), многое по молодости лет, вероятно, не понял бы я самостоятельно, хотя именно в эти годы, прочитав историю философии Льюиса⁵ еще в училище Гуревича, я пристрастился к метафизике и в университете (на физико-математическом факультете) с особым вниманием слушал Введенского.

Соловьев, заходя к Ауэрам на Крюков канал, не чуждался нас, молодежи. Мы называли его — *Le prophète*⁶, но он вел себя с нами никак не пророчески. Он любил молодость. Хмуро-замкнутый на людях, он бывал ребячливо-весел, сходя со своего метафизического олимпа, острил, рассказывал анекдоты, угощал наскипидаренными леденцами, «отгоняющими бесов», а мы не стеснялись задавать ему вопросы, старались его разгадать, чуть робея перед ним, таким знаменитым, высокоумным и необыкновенным, ни на кого не похожим и таким ласково-благожелательным до беспомощности. И в то же время...

В те годы, по примеру большинства открывавших на мир глаза юнцов моего поколения, я был далек от веры, от Церкви. Но мне не были чужды волновавшие тогда многих религиозные проблемы. В те дни я уже читал Ницше, Метерлинка, заграничные издания Льва Толстого, заглядывал в соловьевскую «Критику отвлеченных начал» и в «Чтения о Богочеловечестве». Я спрашивал себя: кто он? почему так зловеще смеется? Христианство представлялось мне улыбчивым, радостным... Какое счастье верить, что есть иное бытие, что смерть — переход в лучший мир! А он то сосредоточенно мрачен, то над кем-то и чем-то трунит, то «отсутствует», словно проваливается куда-то в пустоту от жизни и людей, и тогда веет от него холодом отчуждения, жуткой тишиной. Словно два человека в нем, взаимно отрицающих друг друга: один любящий, милый, щедрый, отдающий себя Богу праведник; другой — запредельно-темный, смутно и скрытно страдающий...

В нем поражала эта двойственность или, точнее, раздвоенность. Начиная с самой внешности. Длинный, худой, аскетический. Верхняя часть лица (хочется сказать — лика) светится умом и мечтательной грустью: прекрасный прямой лоб, очень близорукие глаза, глубоко-синие, лучистые, густые черные брови и длинные, до плеч, вьющиеся волосы, разлетающиеся во все стороны серебристыми прядями... Но большой рот с широкими

пунцовыми губами, прикрытый седеющей бородой, становился вдруг безобразным, разверзаясь пастью с нецелыми зубами, как залетелся он своим неистовым, стонущим на высоких нотах, клочущим хохотом. Воистину пугал этот хохот; если в аду смеются, то не иначе — приходило в голову...

Раздвоенной казалась и вся личность Соловьева, с его из ряда вон выдающимся умом, можно сказать гениально отточенным, логически непогрешимым, и с другой стороны — с его запутанным мистическим легковерием, иначе не скажешь. Он не сомневался в реальности своих «видений» *, беседовал с призраками подолгу в бессонные ночи, а суеверные повадки его, которых он не считал нужным скрывать, доходили до предельной странности — за одну из этих повадок, за «очистительный от бесов терпентин», он, как мы знаем, поплатился жизнью, исподволь отравив себя скипидаром.

Антиномичность Соловьева сказывалась и в том, как он, добрый и жалостливый к людям, бывал жестко-насмешлив и высокомерен, когда чувствовал себя задетым кем-нибудь из инакомыслящих, и как любил он, целомудреннейшей жизни мыслитель, сомнительные остроты, грубоватые каламбуры, сдобренные нередко непристойным словом, и как был готов самое самое святое вышутить, обратить в курьез, в карикатуру, в буффонаду...

Характерны для него в этом смысле иные лирические стихи, в особенности любовные. За два года до нашего знакомства, уже на склоне лет, он «без ума» влюбился в молодую женщину — С. М. Мартынову. Этой единственной его любви по напряженной страстности посвящена большая часть его лирических стихов, вышедших отдельной книжкой как раз в 1895 году:

Пусть осень ранняя смеется надо мною,
Пусть серебрят мороз мне темя и виски,
С весенним трепетом стою перед тобою,
Исполнен радости и молодой тоски...

Но вот что пишет он об этой «молодой тоске» в письме к С. Венгеру: «На вопрос ваш, как я поживаю, прямого ответа дать не могу. Я умер, о чем, бесспорно, свидетельствует следующая эпитафия, высеченная (вопреки закону, избавляющему женский род от телесного наказания) на моем могильном камне:

* В биографическом очерке, приложенном к X тому сочинений Соловьева, Э. Л. Радлов многозначительно замечает: «Признание реальности мистических явлений вытекало из признания зависимости конечного бытия от Абсолюта; существование же Абсолюта было для Соловьева аксиомой веры» ⁷.

Владимир Соловьев лежит на месте этом;
 Сперва философ был, а ныне стал скелетом.
 Иным любезен быв, он многим был и враг;
 Но, без ума любив, сам ввергнулся в овраг.

Он душу потерял, не говоря о теле;
 Ее диавол взял, его ж собаки съели.
 Прохожий, научись из этого примера,
 Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера»⁸.

В другой раз, обращаясь к самой Мартыновой, он продолжает этот «юмор висельника»:

Там под липой у решетки
 Мне назначено свиданье...
 Я иду, как агнец кроткий,
 Обреченный на закланье.

Все как прежде: по высотам
 Звезды старые мерцают,
 И в кустах по старым нотам
 Соловьи концерт играют.

Я порядка не нарушу, —
 Но имей же состраданье:
 Не томи мою ты душу,
 Отпусти на покаянье.

А любил он тогда со всей восторженностью, на какую был способен, любил «безумно», соглашался все отдать за ласку любимой — и гений свой, и славу, и самую жизнь. Он стал на себя непохожим, «едва удавиться с тоски не успел», как он признается в одном из тогдашних стихотворений, а в других — называет любовь свою «роковой», «беззаветной», «всепобедной».

Надо помнить при этом, что «земные» любви Соловьева неизбежно соприкасались с «любовью небесной», с мистическим устремлением к некой божественной сущности. Он писал Мартыновой, своему «жестокому» и «сладостному» другу (когда не называл ее «холодной злой русалкой»):

О, что значат все слова и речи,
 Этих чувств отлив или прибой,
 Перед тайною нездешней нашей встречи,
 Перед вечною, недвижною судьбой...

Но, славя «нездешнюю» встречу, он же не скупился на сарказмы:

О, как любовь все изменила!
 Я жду во прахе недвижим,
 Чтоб чья-то ножка раздавила
 Меня с величием моим⁹.

Мы знаем, «юмор висельника» не покинул его и тогда, когда воочию совершилось чудо, и она, сама «Вечная женственность», неслучайно прекрасной невестой Христовой явилась перед ним в африканской пустыне... Стихотворение «Три свидания», автобиографическое во всех деталях, лучшее тому доказательство.

Близ Каира философ уходит один в пустыню, чтобы встретиться с Ней, с Той, которая сказала ему «однажды в тихий час ночной»: «В пустыне я. Иди туда за мной».

Кто она? Существо неизреченно-высокое, женское олицетворение мировой души, посредница между землею и небом. Для Соловьева образ ее сливается с дохристианским образом Афродиты-Урании и с Эросом, побеждающим смерть. Он обращается к ней:

Заранее над смертью торжествуя
И цепь времен любовью одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
Но ты почувешь трепетный напев...

И тут же как зло вышучивает он себя в роли спешащего на свидание друга Божественной:

Смеялась, верно, ты, как средь пустыни,
В цилиндре высочайшем и в пальто,
За черта принятый, в здоровом бедуине
Я дрожь испуга вызвал...

Мало того. Тот же Соловьев написал позднее стихотворный фарс на тему Софии «Белая лилия», «граничащий с мистической порнографией», заявляет Сергей Булгаков, которого никак не заподозишь в неприязни к автору «Трех свиданий». «Это, — добавляет Булгаков, — одно из двусмысленных и неприятных произведений Соловьева» *. Однако тот же автор считает стихи Соловьева софийного цикла имеющими не только поэтический, но как бы и заклинательный характер. «Это впечатление косвенно подтверждается, — говорит он, — и тем обстоятельством, что в 1874 году, когда Соловьев испытывал первый подъем софийного творчества (второй был в самые последние годы его жизни), в альбоме его записана следующая «заклинательная» молитва об откровении великой тайны:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Неизреченным, страшным и всемогущим именем заклинаю богов, демонов, людей и всех живущих. Соберите воедино лучи

* *Булгаков Сергей*. Тихие думы: Из статей 1913—1915 гг. М., 1915. С. 112¹⁰.

силы вашей, преградите источник вашего хотения и будьте участниками молитвы моей: да возможем уловить чистую глубину Сиона, да обретем бесценную жемчужину Офира, и да соединятся розы с лилиями в долине Саронской. Пресвятая Божественная София, существенный образ красоты и сладость сверхсущего Бога, светлое тело вечности, душа миров и единая царица всех душ, глубиною неизреченного и благодатного первого сына твоего и возлюбленного Иисуса Христа молю тебя: снизойди в темницу душевную, наполни мрак наш своим сиянием, огнем любви своей расплавь оковы духа нашего, даруй нам свет и волю, образом видимым и существенным явись нам, сама воплотись в нас и в мире, восстанавливая полноту веков, да покроется глубина пределом, и да будет Бог все во всем».

Эта молитва — перевод как будто некоего гностического текста. Тогда же Соловьевым написано не менее гностическое стихотворение «Песня офитов».

Белую лилию с розой,
С алою розой мы сочетаем.
Тайной пророческой грезой
Вечную истину мы обретаем.

Вещее слово скажите!
Жемчуг свой в чашу бросайте скорее,
Нашу голубку свяжите
Новыми кольцами древнего змея.

Вольному сердцу не больно...
Ей ли бояться огня Прометея,
Чистой голубке привольно
В пламенных кольцах могучего Змея.

Пойте про ярые грозы —
В ярой грозе мы покой обретаем...
Белую лилию с розой,
С алою розой мы сочетаем.

Достаточно этого стихотворения, чтобы узнать эзотерические корни соловьевской философии. Он кажется больше гностиком-магом, чем богословом, и его «разгадка» бытия, в сущности, сводится к мистической эротике, к боготворению Св. Софии; так толкует он слова апостола: «Бог любви есть». Соловьев, безусловно, верил в реальность воплощения Св. Софии, «ощущая ее близость в течение продолжительного времени» еще тогда, перед «вторым свиданием» в Британском музее. Стихами он сказал так:

Не трижды ль ты далась живому взгляду,
 Не мысленным движением, о нет,
 В предвестие, иль в помощь, иль в награду
 На зов души твой образ был ответ...

О лучезарная! Тобой я не обманут:
 Я всю тебя в пустыне увидал...

«В “Трех свиданиях”, — замечает С. Булгаков (в «Тихих думках»), — дано наиболее явное, не подлежащее никакому перетолкованию повествование об особом, личном характере отношений, существовавших у Вл. Соловьева и Вечной Женственности, принимавшей для него черты ипостасной женщины. Повторные свидетельства о том мы находим в ряде его стихотворений». Когда-то, в 1882 году, он писал:

Под чуждой властью знойной вьюги,
 Виденья прежние забыв,
 Я вновь таинственной подруги
 Услышал гаснущий призыв.

И с криком ужаса и боли,
 Железом схваченный орел,
 Затрепетал мой дух в неволе
 И сеть порвал и ввысь ушел...

А вот из стихотворения, написанного за два года до смерти:

Лишь забудешься днем иль проснешься в полночи —
 Кто-то здесь... Мы вдвоем, —
 Прямо в душу глядят лучезарные очи
 Темной ночью и днем...

«В истории поэзии, мистики, умозрения, — настаивает С. Булгаков, — Владимир Соловьев является единственным, который не только имел поэтическое и философское созерцание относительно Софии, но приписывал себе еще и личные к ней отношения, принимающие эротический характер, разумеется в самом возвышенном смысле. Поэтому земную любовь он ощущает для себя, в общем, как некоторое падение или измену. Он не мог сделаться отцом или мужем, ибо чувствовал себя как бы обреченным... В свете этой, так сказать эротической, гносеологии у Вл. Соловьева София впервые является не только метафизической сущностью, но и ипостасью, конкретной женскою личностью, которая может назначать свидания, писать записочки (в соловьевском архиве нашлись такие, написанные «автоматическим письмом». — С. М.) и вообще «возиться» со своими адептами, по фамильярному выражению Вл. Соловьева.

И не только поэтическими метафорами и гностической символикой выразил он свое понимание любви как глубочайшей тайны бытия. В статье «Жизненная драма Платона» (1890) он исповедует, по существу, то же самое на языке мастерски отточенных силлогизмов, говоря о пяти главных путях любви. «Первый, адский путь... Второй, менее ужасный, но также недостойный человека... путь животных, принимающих Эрота с одной его физической стороной... Третий, действительно человеческий путь Эрота, есть тот, на котором полагается разумная мера животным влечениям, предел, необходимый для сохранения и прогресса человеческого рода». Иначе говоря — брак, Гименей. «Но человек, — Соловьев повторяет одну из любимых своих мыслей, — тем-то и выделяется по преимуществу между прочими тварями, что хочет и может становиться выше себя самого; его отличительный признак есть именно эта благородная неустойчивость, способность и стремление к бесконечному росту и возвышению... Недовольство этим законным (третьим) путем у иных, у большей части, привело к печальному возврату на низшие... незаконные пути, возвращало людей к доисторическому обычаю звериному, а то и к допотопным глубинам сатанинским. Но некоторые уклонялись от человеческого пути, честно старались заменить его не низшими, незаконными, а высшими, или сверхзаконными, путями, из коих первый (в общем счете четвертый) есть аскетизм (половой, или безбрачие), стремление более чем к ограничению чувственных влечений, к совершенной их нейтрализации отрицательными усилиями духа в воздержании...» Однако «это не есть высший, окончательный, сверхчеловеческий путь любви. Само монашество считает и называет себя чином ангельским; истинный монах носит образ и подобие ангела, он есть “ангел во плоти”; за величайшим монахом западного христианства, святым Франциском Ассизским, остается прозвище *roverello*¹¹. Но с христианской точки зрения ангел не есть высшее из созданий. Если человек по существу и преимуществу есть образ и подобие Божие, то носить образ и подобие служебного духа может быть для него лишь временной, предварительной честью. Те самые восточные отцы Церкви, которые и восхваляли и установили “ангельский чин” монашества, они же высшею целью и уделом человека признали совершенное соединение с Божеством — обожествление, или обожение (*θεωσις*, а не *αγγελωσις*)».

Итак, должен быть для человека, кроме и выше четырех указанных путей любви, двух проклятых и двух благословенных, еще пятый, совершенный и окончательный путь истинно пере-

рождающий и обожествляющей любви. «Эта любовь — “духовно-телесная”, то есть совершенное соединение божеского с человеческим. Такая любовь и есть “подвиг духовно-физический и богочеловеческий”».

Соловьев считает свою любовь к Софии именно такой любовью, но, мечтая воплотить ее в действительность, соединить небо и землю, разве все время не соскальзывает он к некой магической гордыне? Отсюда — его мука и поистине жуткий роман с «Подругой вечной»...

От впечатления раздвоенности Соловьева я не мог отделаться и впоследствии, читая внимательно его сочинения, захватывавшие меня широким замыслом, мастерством изложения, непогрешимостью логики и верой в человека. Светом богочеловеческой мудрости сквозит мысль Соловьева — метафизическая ее глубина и вытекающие из нее раздумья на разнообразнейшие темы. И в то же время как часто в этой мысли ощущается что-то недоговоренное, смутное, темное, что-то, с чем он внутренне боролся, заглушая страшным своим смехом испуг, может быть — отчаяние...

Раздвоенностью можно объяснить отчасти и ту противоречивую последовательность, с какой менялось его мировоззрение. После двухлетнего приятия материалистического безбожия на естественном факультете университета выросший в религиозной семье внук священника Владимир Соловьев вернулся при переходе на филологический факультет к вере в Бога, к христолюбю и уже не изменял больше вновь обретенной вере до конца дней. Но путь его богопознания был долгий и спотыкающийся путь. Сколько различных этапов на нем, взаимно противоречащих друг другу философских «вех», начиная с пантеизма Спинозы (его первой метафизической любви) и попутно так основательно усвоенной им античной диалектики, от Платона и неоплатоников к православной мистике через Канта, Шопенгауэра, Э. Гартмана, Фихте, и в особенности Шеллинга и эзотериков XVII—XVIII веков, Якова Беме, Парацельса, Сведенборга и ряда других мыслителей, от которых исходит то «посвятительное знание», что мы называем христианствующим эзотеризмом.

Ни на одном из перечисленных учителей Соловьев не задерживался (если не считать Платона, диалоги которого в конце жизни он собирался заново перевести и распределить в известном порядке). Он пользовался своими предшественниками постольку, поскольку они были нужны ему в подтверждение его софиологии, этики, эстетики и, наконец, эсхатологии (в предсмертные годы) и поскольку, повторяю, не было в нем самого того

духовного единства, каким создается гармоническое миропритяжение.

Вера Соловьева в Христа, Сына Божия, и в падшего человека, им, Спасителем, возвращаемого Богу, — человека, который спасется от греха и смерти и тем преобразит материальный, «эмпирический» мир и сделает его опять духовно-сущим в Боге, освободенным от рабства времени и пространства, — эта вера в конечное преображение вселенной, по глубокому убеждению Соловьева, нуждалась в доказательствах разума, в диалектической силлогистике — не только в вере, в религиозном вдохновении. Спекулятивными ухищрениями разрешилась для него проблема бытия. В упомянутой уже статье о жизненной драме Платона он заявляет решительно: «Исключительно фактическая, слепая вера целесообразна достоинству человека». — И цитирует Платона: «Великие благодетели человечества — Прометей, Деметра и Дионис. Но Триждывеличайшим называется и есть отец наш Гермес Трисмегист. В телесный образ человеческого общежития он вложил живую душу и двигательницу жизни — философию не для того, чтобы даром и в готовом виде получил человек вечную истину и блаженство, а для того, чтобы трудовой путь человеческий к истине и блаженству огражден был с двух сторон — и от суеверного демонского трепета, и от тупой животной безотчетности».

Разве такое утверждение естественно в устах догматического, ортодоксального христианина?

Не буду останавливаться на этом основном противоречии в учении Соловьева. Скажу только, что в конечном счете учение Соловьева сводится к попытке при помощи различных, поочередно увлекавших его умозрительных систем примирить вечносущее Добро, Абсолют, Трехипостасного Бога, всеобъемлющего и всетворящего, с пребывающим во зле миром материи и силы, миром земного человека, отпавшего от Божества, злоупотребившего дарованной ему свободной волей. Но человек должен вновь соединиться с ним, творцом вселенной. И тогда мир будет преображен и вернется к райскому всеединству. Роль, приписываемая Соловьевым человеческому разуму в этом теогоническом процессе, очень велика и приближает нашего философа к гуманистам-теософам Возрождения.

Отсюда — и этика Соловьева, вытекающая из христианских аксиом.

Когда я встретился с Соловьевым в 1895 году, он как раз завершал свою христианскую этику — «Оправдание добра». Тогда он пришел уже к известному равновесию, покончив счеты с

любовью земной после горестной страсти к Мартыновой, и, кончая этическую часть своей философской программы, сосредоточился на исторических судьбах мира, на предвидении того, что ожидает человечество, если оно не переродится духовно, т. е. — гибели, хотя бы частичной и временной, по пророчеству Иоаннову.

Но, несмотря на то что в последние годы очень многое отстоялось в его мировоззрении и от многого он отошел — в первую очередь от идеи католической теократии с римским папой и православным царем и «пророком» над ними (как единственного пути спасения) и заодно от славянофильского мессианства, — не является ли именно этот период перед концом самым противоречивым, самым психически раздвоенным? Биографы Соловьева называют этот период «эсхатологическим».

Многих в те годы, последние годы века, возмущал Соловьев и как политический, и как религиозный мыслитель. В частности, его мистика вызывала самые желчные нападки; одни поэты-символисты сразу признали ее (от соловьевского корня, от теургического уклона его стихотворений — все ветвистое древо нашего символизма). Конечно, были у него и верные друзья и почитатели, но — горсточка. Широким признанием ни в «правых», ни в «левых» кругах он не пользовался. С одной стороны, был он слишком независим и блестящ для общества, привыкшего думать «по трафарету», с другой — было действительно что-то в его умозрительной сложности, мешавшее ясному его пониманию. Ему не прощались и дерзкая прямолинейность суждений, и неколебимая вера в свою правоту. Помню, какое возмущение вызвала в юбилейный пушкинский, 1899, год статья Соловьева, посвященная роковой дуэли¹². Мысль о моральной ответственности за нее самого поэта (с христианской точки зрения) молва обратила в какое-то злорадное «приятие» философом смерти Пушкина. Проповедь Соловьева о примирении православной и католической церковью для общей борьбы с безбожным веком была понята как антинациональная утопия, как измена русскому православию*.

Даже самые чуткие психологи зачастую неверно судили о нем, сбивые с толку его «необыкновенностью» и «вседержанием». В. В. Розанов в книге «Литературные изгнанники» (СПб., 1913) так характеризует Соловьева, несмотря на долгое знакомство и

* На самом деле Вл. С. Соловьев никогда не менял исповедания, а только причастился однажды по католическому канону в знак этого примирения («личной унии»).

дружеские отношения с ним, хотя и прерывавшиеся резкой полемикой: Соловьев «весь был блестящий, холодный (?), стальной (?). Может быть, было в нем “божественное”, как он претендовал, или, по моему определению, глубоко демоническое, именно преисподнее; но ничего или очень мало в нем было человеческого (?)... Сына Человеческого (по-житейскому) в нем даже не начиналось — и, казалось, сюда относится вечное оплакивание им себя, что я в нем непрерывно чувствовал во время личного знакомства. Соловьев был странный, многоодаренный и страшный человек. Несомненно, что он себя считал и чувствовал выше всех окружающих людей, выше России, ее Церкви, всех тех “странников” и мудрецов “Пансофов”, которых выводил в «Антихристе» и которыми стучал, как костяшками, на шахматной доске своей литературы... Пошрое, побежавшее по улицам прозвище его “Антихриста”, “красивого брюнета Антихриста”, не так пошло (!) и, собственно, сказалось в улице под неодолимым впечатлением от личности и от всего в совокупности»¹³.

Конечно, эта розановская характеристика неверна. Глубокой человечности, самоотверженной доброты было в Соловьеве куда больше, чем претенциозной и холодной самонадеянности. И уж никак не было его христианское «не от мира сего» — демоническим, преисподним, хотя и удивлял он подчас своими странными выходками, а его «диавольский», надрывный хохот пугал впечатлительных современников.

Владимир Соловьев был во всех своих писаниях и в жизни проповедником, моралистом-христианином, отдавшим себя «спасению человечества» и через него и всего мироздания. Проповедь добра была его делом, его подвигом. Не будучи аскетом в первоначальном смысле, он был подвижником. Он не умерщвлял плоти, как анахорет-пустынник, но в трудах умственных ежедневно, ежечасно отдавал всего себя любви к людям, веруя безусловно в человека, подобие Божие, всю творческую жизнь боролся с диаволом и... кончил жизнь в непосильной схватке с духом зла.

Итак, Соловьев не был балован сочувствием соотечественников, а на Западе никто почти им не интересовался, несмотря на книгу его, сочувствующую католицизму, на французском языке «*La Russie et l'église universelle*»¹⁴. В России лишь позднее, когда из сочинений Соловьева стала вырастать целая философская школа, отмеченная очень русским тяготением к богословию (Флоренский, С. Трубецкой, Карсавин, С. Булгаков, Франк, Бердяев, Вышеславцев и др.), прекратились злостные нападки на

философа из разных лагерей. Ни к одному из них он не принадлежал. Этим все сказано. У нас «одиначек» не терпят. Еще в год своей смерти пришлось Соловьеву, выпуская стихотворения третьим изданием, энергично защищать свою опороченную Музу. В предисловии (оно было повторено и в четвертом издании), говоря о своих софийных стихах, он так ответил на выпады «неофициальных Катонов», обвинявших его в еретической пагубе: «Более серьезных оговорок требуют два других произведения: “Das ewig Weibliche” (слово увещательное к морским чертям) и “Три свидания”. Они могут дать повод к обвинению меня в пагубном лжеучении. Не вносится ли тут женское начало в самое Божество? Не входя в разбор этого теософского вопроса по существу, я должен, чтобы не вводить читателя в соблазн, а себя оградить от напрасных нареканий, заявить следующее: 1) перенесение плотских, животное-человеческих отношений в область сверхчеловеческую есть величайшая мерзость и причина крайней гибели (потоп, Содом и Гоморра, «глубины сатанинские» последних времен); 2) поклонение женской природе самой по себе, то есть началу двусмыслия и безразличия, восприимчивому ко лжи и злу не менее, чем к истине и добру, — есть величайшее безумие и главная причина господствующего ныне размягчения и расслабления; 3) ничего общего с этой глупостью и тою мерзостью не имеет истинное почитание вечной женственности как действительно от века воспринявшей силу Божества, действительно вместившей полноту добра и истины, а через них нетленное сияние красоты.

Но чем совершеннее и ближе откровение настоящей красоты, одевающей Божество и его силою ведущей нас к избавлению от страдания и смерти, тем тоньше черта, отделяющая ее от лживого ее подобия — от этой обманчивой и бессильной красоты, которая только увековечивает царство страданий и смерти. Жена, облеченная в солнце, уже мучается родами: она должна явить истину, родить слово, вот древний змий собирает против нее свои последние силы и хочет потопить ее в ядовитых истоках благовидной лжи, правдоподобных обманов. Все это предсказано, и предсказан конец: в конце Вечная красота будет плодотворна и из нее выйдет спасение мира, когда ее обманчивые подобия исчезнут, как та морская пена, что родила простонародную Афродиту. Этой мои стихи не служат ни единым словом, и вот единственное неотъемлемое достоинство, которое я могу и должен за ними признать»¹⁵.

Никогда не работал он усерднее, чем в эти предсмертные годы: свою христианскую метафизику он перестроил, ревностно пере-

водил Платона, выпускал издание за изданием сборники своих стихотворений, проявил лихорадочную деятельность как публицист и всесторонний эрудит, помещал «Воскресные письма» (на разнообразнейшие темы) в «Неделе» Гайдебурова¹⁶, написал около шестидесяти малых и больших статей для словаря Брокгауза и Ефрона, обнаружив тончайшую осведомленность в вопросах догматических, историко-философских и литературных, блестяще полемизировал с Введенским (о Спинозе)¹⁷, с Львом Толстым (о непротивлении злу)¹⁸, с Розановым и Тихомировым (о свободе совести и веротерпимости)¹⁹, стал постоянным сотрудником журнала «Вестник Европы».

В то же время мистические переживания его становились все более острыми, с уклоном к таким фантазмам воображения, которые не назовешь иначе как... болезненной аберрацией. Образ Софии Премудрости Божией, подробно истолкованный им как соборная душа человечества, стал для него навязчивой идеей. Софийные «видения» молодых лет к нему не возвращались как будто, но мечта о вечной женственности так пронзила его религиозную настроенность, что обернулась постепенно бредовым диалогом с «Подругой вечной». Он писал ей записки, и ответы на них тоже писал в состоянии, подобном трансу. После его смерти в его бумагах осталось много таких записок и ответов. Но было несколько — подписанных и не его рукой, а действительно... «Софией». Автором их была женщина, о которой философ до того понятия не имел.

Бред гениальных людей заражает и без слов, на расстоянии. В Нижнем Новгороде нашлась некая Анна Николаевна Шмидт²⁰, немолодая женщина, по профессии домашняя учительница и журналистка. Была очень бедна и самоотверженно добра, в конце жизни содержала престарелую мать. В журнале Мережковских «Новый путь» (1904) была помещена ее статья «О будущности»²¹ за подписью «Тимшевский». В этом журнале был помещен и ее «ответ» Андрею Белому²². Встречавшие ее после смерти Соловьева не сомневались, что перед ними помешанная.

Так говорил о ней и Максим Горький в своих «Воспоминаниях»²³. Но С. Булгаков, разбиравший рукописи А. Н. Шмидт, принял всерьез ее мудрость, хотя и признает эту мудрость «жуткой». Произведения А. Н. Шмидт, заявляет он в главе «Тихих дум», им посвященной, «трактуют о последних вопросах христианского сознания, и притом с дерзновенностью, не знающей границ. Они полны догматических новшеств в учении о Св. Духе, Богоматери, о Церкви, о Христе и Святой Троице...» «О том, что может родиться лишь в недрах церковного самосознания, она го-

ворит... от имени “откровения”, каковым и считает свой Третий Завет. В себе она ощущает воплотившийся дух Церкви, одновременно единоличной и соборной, и чувствует себя находящейся в общении с небесным “возлюбленным”, который впоследствии оказывается воплощенным в Вл. Соловьеве». «Несомненно, — добавляет автор «Тихих дум», — найдутся многие, кому мистика А. Н. Шмидт покажется просто бредом, безумием и вздором или же совокупностью хул и ересей, порожденных вдохновением “духа лестча”».

Г-жа Шмидт не читала Соловьева до знакомства с ним, но как бы подслушала его мистическое учение и до такой степени на расстоянии прониклась тайными думами философа, что вообразила себя той, кого он называл «Подругой вечной», т. е. воплощением Св. Софии на земле. Она стала писать письма Соловьеву, убеждая его в том, что, подобно ей, «мистической Невесте» его, и он, Соловьев, суженый ее, «предвечный Жених».

Соловьев отнесся в ней с подобающей осторожностью, но она продолжала убеждать его своими письмами, все более пламенными, и теоретическими статьями на те же его темы — о мистической любви, о «Третьем Завете».

А. Н. Шмидт была, по-видимому, существом с большой интуицией. Впоследствии появилась выпущенная книгоиздательством «Путь» (вместе с несколькими письмами к ней Соловьева) часть оставшихся после ее смерти рукописей, о которых тот же Сергей Булгаков заявляет: «Здесь мы имеем не только интереснейший человеческий документ, историю души совершенно исключительной по своей судьбе, не только сокровенную страницу интимной биографии Владимира Соловьева, но и первостепенной важности мистический трактат, который смело выдержит сравнение с произведениями первоклассных европейских мистиков, как Я. Беме, Портедж, Сведенборг...» В ее писаниях — «убеждение в близости конца мировой истории и воля к концу... и проникновенное истолкование Апокалипсиса, отнюдь не похожее на рационалистическое искание ключа к “пророческой азбуке” (от Ньютона до Вейнингера). В то время когда Достоевского начинал охватывать апокалиптический трепет, а Вл. Соловьев еще не приближался к эсхатологическим темам, нижегородская Сивилла заносила на бумагу свои загадочные видения и прозрения в “будущность”, по-своему разгадывая тайну России».

Булгаков ставит вопрос: «Кем же Соловьев должен был почитать самого себя, счастливого избранника, удостоенного любви Св. Софии и свидания с нею лицом к лицу, без всякого посредства земной женщины? Не ставить этого вопроса перед собой он не

мог — он вовсе не отличался наивной непосредственностью, да и слишком привык отдавать себе отчет в важнейших вопросах. И однако во всех томах его сочинений мы не находим никакого намека на ответ (если не считать за таковой до известной степени автобиографическую и как бы самобичующую «Повесть об антихристе»). В своей глубокой отъединенности и замкнутости, столь противоречащей внешней доступности, Соловьев таил от людей, а может быть, и должен был таить, свое самое интимное, и в этой обреченности тайне было и нечто нечеловеческое, сверхчеловеческое».

Как бы то ни было, я никак не могу согласиться, внимательно прочитав все писания г-жи Шмидт и письма к ней Владимира Соловьева, с высокой оценкой Булгаковым ее мистики и ее «влияния» на Соловьева. К тому же письма к ней Соловьева ясно показывают, что философ прекрасно отдавал себе отчет в том, что имеет дело с душевнобольной женщиной.

Логическая мысль и бредовая одержимость того или другого рода тесно соприкасаются в целом ряде психических заболеваний. Пристальное общение с больным нужно иногда врачу, чтобы напасть на его чувствительную «точку». В. А. Тернавцев²⁴, которому А. Н. Шмидт послала статьи для журнала «Новый путь» (с анаграммной подписью А. Тимшевский» и «С»), так же как Мережковский, не сразу догадался, что перед ним умалишенная.

Долго таила А. Н. Шмидт теософскую проповедь свою в ожидании «откровенного» часа. И этот час настал, когда она ознакомилась с софиологией Владимира Соловьева. Тут бред ее вспыхнул ярко: для нее началось христианство «Третьего Завета», христианство Духа Святого, ознаменованное вторым пришествием и таинственным браком Софии Премудрости Божией, небесной Церкви Христовой, души мира (которую она, как жемчуг, называет «Маргаритой»), с Женихом ее в вечности Иисусом Христом (по небесному имени «Рафаилом»). И этого мало: земным воплощением «Маргариты» она почувствовала с фанатичной убежденностью, свойственной безумию, себя, Анну Шмидт, а новым воплощением Христа-Рафаила, Женихом своим возлюбленным, — Соловьева.

Открылось это ей весной 1900 года, после того как Соловьев прочел публично свою «Повесть об антихристе». Но гораздо раньше, еще в 1886 году, А. Н. Шмидт так начинала свой «Третий Завет»:

«1. Меня избрал Бог орудием своим, чтобы через меня в третий раз возвестить свое откровение людям своим и объявить им волю свою и призвать их к великому делу своему.

2. В первый раз Он говорил народу своему Израилю через Моисея и, вручая ему закон свой, открылся ему как единый Бог.

3. Во второй раз Он сам явился в Израиле от его плоти и крови и возвестил ему имена Отца, и Сына, и Святого Духа.

4. Ныне через меня Он хочет опять обратиться и к погибшим овцам дома Израилева, и к другим своим овцам, которые и не сего двора, и объяснить им свои Три Имени, для чего и поручил мне открыть людям многие тайны.

5. А я, которой Он это поручил, я — Церковь Христова, единая и живая, дух соборный и апостольский.

6. Я та, о которой ап. Павел сказал: “По сему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два в плоть едину. Тайна сия велика есть”, говорю по отношению к Христу и Церкви...»*.

Итак, уже с 86-го года она втайне признавала себя олицетворенной Церковью Божией, а пятнадцатью годами позже, узнав своего Возлюбленного в образе Соловьева, она доверила ему «Тайну». Затем, в 1903 году, за два года до смерти (от воспаления мозга), следующим образом уточнила она эту «Тайну» в письме к В. А. Т[ернавцеву], изложив ему по-новому несколько членов Символа веры:

«Узнайте же три главных положения моей Богооткровенной святой веры, т. е. нового исповедания единой христианской веры. Во-первых, *безусловно все догматы и предания православия*. Во-вторых, новое освещение их, выражающееся так: *8-й член Символа: И в Духа Святого, Дочь Божию, живородящую, от Отца исходящую, в Деву Марию, при Благовещении архангела воплотившуюся, со Отцом и Сыном спокланяемую и славимую, говорившую через пророков. 9-й член: И в Церковь единичную, предвечную, святую, соборную и апостольскую жену Сына Божия, мать его предвечных дней — ангелов, младенцев, мать и всех христиан, возрожденных им через нее, праматьер же всех духов: на земле дважды воплотившуюся, и т. д. 7-й член: И восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца: оставаясь в нетленном теле на небесах, вторично воплотившегося на земле в 1853 году человеческим естеством (год рождения Вл. Соловьева. — С. М.). Божеское же естество вторично принявшего в 1876 г., при видении Церкви в Египте (второе «свидание» Вл. Соловьева с «Вечной Подругой». — С. М.), и скоро грядущего судить живых и мертвых. Его же Царствию не будет конца»**.*

* Из рукописей А. Н. Шмидт. М.: Путь, 1916. С. 280.

** Там же. Письмо к В. А. Т. С. 270.

После этих цитат говорить подробно о «Третьем Завете» я не буду, разумеется. Но вот — в двух словах: А. Н. Шмидт тоном власть имущего пророка рассказывает на протяжении двухсот страниц Священное Писание, все главное, по ее мнению, содержание Библии и дальнейшую судьбу христианства до наших дней: довременное бытие Бога-Любви и единосущное триединство «Предвечной Семьи» (Бога-Отца, Сына и Дочери), мятеж злого духа, дни творения, блаженство райского человека и его грехопадение, первое, допотопное человечество и Ноевы поколения, историю евреев и жизнь Христа, ереси первых веков и Вселенские соборы, папство, разделение церквей, протестантизм, открывший двери современному безбожию и царству антихриста по откровению Апокалипсиса, и наконец — возрождение Церкви небесной, победное воцарение последней, вселенской новоизраильской ортодоксии и соединение ее с Христом второго пришествия. Все это — в аспекте непререкаемого православия, но без полемических выпадов против других исповеданий. А. Н. Шмидт — патриотка, всемирная правда мерещится ей в духе русской веры.

Никаких богословских познаний ее писания не обнаруживают. Ничего как будто, кроме Библии, она не читала. Если кое-что знает о гнозисе «первоклассных европейских мистиков», то очень смутно. У нее все из себя и от себя и предвзято-произвольно до крайности. И тем не менее волевая напряженность ее мыслительных процессов создает подчас иллюзию глубины. Во всяком случае, горячая вера в Бога, сквозящая в каждом ее слове, может сбить с толку — по первому впечатлению, лучшее свидетельство тому, что такой умудренный мыслитель, как С. Н. Булгаков, мог настолько увлечься ею, что называет ее сочинение «сокровенной страницей интимной биографии Владимира Соловьева».

Письмо Шмидт, к В. А. Т. в частности, показывает, безусловно, и другое: что больная «точка» в ее сознании особенно ярко выступила из хаоса ее теософских «откровений» после того, как она узнала учение Соловьева. Глава XIV «Исповеди» начинается так: «Прошло много лет со времени первых моих откровений... В 1900 г., дочитав до конца “Три разговора” Вл. Соловьева, я почувствовала такое состояние, точно меня что-то подымало от земли. Родственность его духа и его идей с моими была мне очевидна. Я написала ему 16 страниц, где изложила вкратце, но сполна, мои верования и чаяния и полученное мною от Бога учение. Он получил мое письмо 7 марта и ответил уже 8-го... После этого я стала писать ему много и часто, почти каждый день».

А. Н. Шмидт рассказывает в «Исповеди» и о том, как отзывается на эти письма Соловьев: как назначил ей свидание во Владимире и как для нее многое «открылось» от общения с ним...

Я не сомневаюсь в точности ее записей. А. Н. Шмидт — натура честная, правдивая, к похвальбе неспособная, хотя многое видит так, как ей этого хочется, а не так, как оно на самом деле. Она ничего не выдумывает, утверждая, что в часы ее наитий «возлюбленный» не переставал говорить ей о своей вторичной жизни на земле в смертном теле. Так ей действительно мерещилось. «Он говорил мне в самые первые дни откровения, — записывает она, — что живет в России, именно в Петербурге, и что Он теперь русский». Этот Он — не еврей И. Р. («нынешнее воплощение Сына Человеческого»), как она думала прежде, а — Соловьев, и она чувствует, перечитывая его стихотворение «Les Revenants»²⁵, что и у него благодаря ей «глаза открылись...». «С невыразимым волнением, — отмечает она, — я написала ему свое толкование на каждый стих, а на последние — такое:

Бывшие мгновения поступью беззвучною
Подожли и сняли покрывало с глаз...
Видят что-то вечное, что-то неразлучное,
И года минувшие, как единый час.

...Этих минувших лет, спросила я его, было 1867, не так ли? (От смерти Иисуса до 1900 г.)».

«На это письмо долго не было ответа, — признается она. — Я мучилась страхом, не повредила ли его здоровью и жизни, если мое письмо застало его еще не довершившимся, не с созревшим самосознанием. Наконец я получила ласковые строки: с ответом по некоторым вопросам, но молчавшие о моем восторженном, важнейшем письме...»

Далее она отмечает: «30 апреля 1900 г. мы увиделись, побеседовали часа два. Он мне сказал, что преобразаться вслед за Христом нужно и другим... и мне. Сказал, что многое, написанное мною, внушено свыше, только изложено по-моему...» А 31 июля того же года она записывает: «Не успев повидаться со мной снова, как ему хотелось, он умер (на другой день моего рождения)... Я провела три дня вблизи него, больного, когда он был уже не в полном сознании. Меня пустили к нему, по просьбе его матери, один раз. Я его увидела спящим. Мы жили далеко друг от друга, и я должна была уехать. Через несколько дней я опять приехала, когда его хоронили. Сначала я думала, что все погибло. Но мало-помалу стала приходить в себя, вспоминать и соображать. А все же Бог открыл мне, что мой Возлюбленный в

последний раз перед концом мира родится на земле 9 месяцев после смерти Вл. С. Значит, 31 июля он зачат был. А 9 месяцев от этого дня истекает 30 апреля 1901 г. — в годовщину нашего свидания».

Ничего больше в своем «Дневнике» о возлюбленном философе А. Н. Шмидт не сообщает. Копий с писем ее к нему в ее архиве не сохранилось. Уцелело только несколько ответов Соловьева, они составляют «приложение» к ее книге. На первый из этих ответов Соловьева главным образом и ссылается С. Н. Булгаков:

«Соловьев, тронутый восторженным почитанием неизвестной ему женщины, выражает “радость по случаю ее писем”, говорит, что она “близко подошла к истине по вопросу величайшей важности”, и ободряюще напутствует ее: “Ваше появление кажется мне очень важным и значительным”».

Но были и другие ответы Соловьева, на них С. Н. Булгаков не обратил должного внимания. Удивительно даже, как многоопытный мыслитель мог, прочитав их, прийти к убеждению об «исключительной важности переписки с А. Н. Шмидт для Владимира Соловьева и вообще — этой встречи, происшедшей почти накануне его смерти». Ведь остальные письма звучат совсем по-другому! Во втором, десятью днями позже, благодаря свою корреспондентку «за искренность и правдивость», Соловьев уже посоловьевски насмешливо отвечает на сумасшедший ее вопрос о «воплотившемся Сыне Человеческом в нынешнем еврее с инициалами И. Р.», о котором она «ложно думала, хоть и предчувствовала русское воплощение»: «Разыскивать лицо, соответствующее инициалам И. Р., — пишет Соловьев, — не вижу возможности, а получить прямое сообщение свыше не считаю себя достойным. Могу служить Вам тут лишь своей догадкой: И. Р. — Иуда Раскаившийся? Но в адресном столе он, конечно, записан под другой фамилией, и, значит, если бы даже моя догадка была достоверна, то она осталась бы все равно бесполезной».

В третьем письме Соловьев никак не отзывается на ее пламенные излияния, а только сообщает, по-видимому отклоняя ее просьбы о свидании: «Собираюсь на несколько дней в Москву и вообще ничего определенного не знаю и не загадываю понапрасну».

Следующее письмо, от 22 апреля, довольно длинное, но и здесь почти сплошь — ирония. Ни на какое сочувствие богословским новшествам А. Н. Шмидт и намек нет. «*Не уявися, что будем,* — посмеивается он, — а пока мы верно чувствуем вечное, но нестерпимо фантазируем и путаемся в пустяках. Три характерных пустяка: 1) Вы продолжаете смешивать меня с моим старшим

братом Всеволодом Соловьевым, имевшим какие-то тайные дела с г-жой Блавацкой и написавшим об этом какую-то серую книгу, чему я ни душой, ни телом не причастен. Г-жу Блавацкую я никогда в жизни не видел и ни ее личностью, ни ее “чудесами” и “фокусами” никогда не занимался, а только (и весьма умеренно) теософским движением, с принципиальной стороны... 2) Зная, как Вы цените мои стихи, я хотел оказать Вам любезность, приславши до выхода книжки те стихотворения, которые Вам были неизвестны... 3) Заметив в одном Вашем письме лучшую редакцию одного моего стихотворения “Les Revenants”, я с удовольствием этим воспользовался. И из этого простейшего факта Вы выводите какие-то сложные заключения... Довольно о пустяках. *Исповедь Ваша возбуждает величайшую жалость, и скорбно ходатайствую о Вас перед Всевышним* (курсив мой. — С. М.). Хорошо, что Вы раз это написали, но прошу Вас более к этому предмету не возвращаться. Уезжаю сегодня в Москву и сожгу фактическую исповедь в обоих изложениях — не только ради предосторожности, но и в знак того, что все это только пепел»*.

О своем приезде на долгожданное ею свидание он сообщил лаконической телеграммой: «Если есть опасение здоровья, не выезжайте. Мне все равно нужно [быть во] Владимире по другому делу».

К какому «согласию» привело их свидание во Владимире, мы не знаем. Судя по предпоследнему ответу Соловьева, можно думать, что никак не сбылось упование А. Н. Шмидт, и была она не на шутку встревожена впечатлением, какое произвела на «возлюбленного». Дружеское уверение пожалевшего ее философа лучшее тому свидетельство. «Вот два слова в успокоение, — пишет он ей с сострадательной любезностью, — я жив, по-прежнему сохраняю к вам неизменные чувства интереса и симпатии, никакого неблагоприятного впечатления свидание с Вами не оставило, одним словом все по-старому. Теперь очень спешу, а на днях постараюсь написать больше. Искренне к Вам расположенный Влад. Соловьев».

Наконец, последнее его письмо, от 22 июня (прошло два месяца с владимирского свидания), уж ничем не сквозит, кроме как намерением прекратить ставшую для него в тягость переписку. «На днях еду в южную Россию, на неопределенное время (?). Как видите, Ваше желание приехать в Петербург, чтобы видеться со мною, независимо от основательности или неосновательности этого желания, все равно не может осуществиться. Очень рад,

* Там же. С. 285—286.

что Вы сами сомневаетесь в объективном значении известных видений и внушений, или сообщений, которых Вы не знаете. Настаивать еще на их сомнительности было бы с моей стороны *невеликодушно* (курсив мой. — С. М.)».

Тут нечего добавить. «Было бы с моей стороны невеликодушно» — этим все сказано. Ни о какой «тайне» Соловьева, угаданной А. Н. Шмидт, «как бы его женским alter ego», не может быть речи. Если он вернулся в Москву «потрясенный» (допустим) после свидания, то не оттого ли, что убедился воочию, на каком «волоске» от безумия человеческое сознание, порывающееся к постижению истин, человеку недоступных?

Жалкое сумасшествие А. Н. Шмидт, вообразившей себя «Поздней вечной», могло усугубить муку Соловьева о самом себе, о безднах собственной души, населенных призраками и грозящих гибелью. Потому что в нем (к тому и сводится моя догадка о трагической раздвоенности Владимира Соловьева) высокий, светлый, ясный разум, предвкушающий мистическое озарение, уживался с «темными, низшими силами, бившимися в его груди», как проговаривается, рассказывая о его смерти, лучший его друг, самый близкий ему человек, Сергей Николаевич Трубецкой*.

Брат Владимира Сергеевича, Михаил, считал опасной ересью соловьевское христианство «Третьего Завета», которое А. Н. Шмидт провозгласила откровением свыше. Тот же Михаил Сергеевич после смерти брата, когда вскрыл посылавшиеся им на хранение пакеты, в этих пакетах обнаружил записи о том, как, подобно Иисусу Христу, умиравший философ искушался дьяволом. Эти записи ужаснули религиозного Михаила Сергеевича, в них рассказывалось о ежедневных «возмутительных» беседах с чертом, внешность которого тоже описывалась в подробностях... Вследствие компрометирующего содержания этих записей решено было на семейном совете сжечь их и никому не говорить ни слова.

Так рассказал, со слов М. С. Соловьева и его жены Прасковьи Николаевны, писатель Эллис²⁶ (сотрудник «Весов», впоследствии католический священник, тоже мистически настроенный поэт). Эллис имел с Михаилом Сергеевичем доверительный разговор незадолго до его смерти (в 1903 году) и, в свою очередь, передал этот разговор, нарушивший семейный «обет молчания», своему давнишнему приятелю Николаю Владиславовичу Вольскому, известному журналисту. Вольский поделился «тайной»

* Смерть В. С. Соловьева // Вестник Европы. 1900. Кн. 9. С. 420.

с русскими читателями (значительно позднее, 26 августа 1956 г.) на страницах «Нового русского слова».

Мне, знавшему Соловьева как раз в эти его «эсхатологические» годы, рассказ Эллиса Вольскому не кажется невероятным. Думаю, что не сочли бы ложью эти записи о черте ни друга Соловьева — кн. С. Трубецкой например, или В. Величко, ни даже последний из его биографов, проф. К. Мочульский.

С. Трубецкой рассказывал Н. Давыдову*, как «однажды они вдвоем с Владимиром Сергеевичем ужинали в общей зале какого-то ресторана. Соловьев во время оживленного разговора внезапно побледнел, откинулся, замолчал, на спинку стула и так пробыл некоторое время с закрытыми глазами как бы в бессознательном состоянии. Сергей Николаевич не нарушил его, а когда Соловьев раскрыл глаза и «ожил», то сообщил, что ему представилось видение: кто-то несуществующий приходил к нему...»

«В резких переходах от веселости к мрачному безмолвию и наоборот, — пишет другой близкий ему друг, поэт А. Величко, — как и во всем душевном складе Владимира Сергеевича, было, если можно так выразиться, нечто медиумическое: точно не все его слова и действия были вполне произвольны, точно какие-то невидимые силы вселялись в тайники его духа». Он же, в другом месте, утверждает, что Соловьев «видел дьявола и пререкался с ним».

Мочульский (умерший до разоблачений Вольского о сожженных записях Соловьева) так заключает ссылки на некоторых из названных авторов: «Таково предание: фактическая сторона его, быть может, малодостоверна, но внутренний смысл несомненен: в 1898 году Соловьев пережил реальный опыт темных сил. Он отразился в его поэзии. В стихотворении “В Архипелаге ночью” автор свидетельствует:

Видел я в морском тумане
Всю игру враждебных чар;
Мне на деле, не в обмане
Гибель нес зловеший пар.

В явь слагались и вставали
Сонмы адские духов,
И пронзительно звучали
Сочетанья злобных слов».

* Давыдов Н. Из воспоминаний о Вл. С. Соловьеве // Голос минувшего. 1916. Декабрь.

О встречах с «Подругой вечной» Соловьев повествовал в «шутливых стихах, — продолжает Мочульский*, — мог ли он дерзнуть серьезно рассказать “просвещенным читателям” о своей встрече с чертом? И он снова прибегает к юмористической форме, чтобы защитить себя от единомышленников генерала Фадеева, который когда-то в Египте внушал ему, что

...прослыть обидно
Помешанным иль просто дураком».

Стихотворение «Das Ewigweibliche», с подзаголовком «Слово — увещательное к морским чертям», начинается следующими строками:

Черти морские меня полюбили,
Рыщут за мною они по следам:
В Финском поморье недавно ловили,
В Архипелаг я, они уже там!

Ясно, что черти хотят моей смерти,
Как и по чину прилично чертям,
Бог с вами, черти! Однако, поверьте,
Вам я себя на съеденье не дам.

Но, думается мне, Соловьев прибегал к юмористической форме, не только «чтобы защитить себя от генерала Фадеева». Юмор был для него заклинательным средством от темной силы (так же как для Гоголя, например, и его преемника в этой области — Ремизова).

Вопрос об отношении гениальности к сумасшествию — труднейший вопрос. Я разумею безумие не в метафорическом, а в медицинском смысле, когда человек видит, слышит, ощущает и связывает мысли не так, как другие, словно для него мир стал иным, нелепым, невозможным с точки зрения здравомыслящих людей, противоречащим законам природы и инстинкту самосохранения (отсюда у большинства помешанных навязчивая идея самоубийства).

С позитивной, научной точки зрения все как будто разрешается довольно просто, хотя и не всегда легко разграничить сознание безумное и нормальное и трудно определить, где начинается, собственно, ненормальность мыслей и чувств. Но, конечно, психиатрия все более тонко справляется с задачей; она разделила на категории психические заболевания, определила признаки большей или меньшей их силы и во многих случаях изобрела способы лечения. Мозг, как всякая часть человеческого организ-

* Мочульский К. Там же. С. 251—252²⁷.

ма, при умелом воздействии на него, и физическом и моральном, излечивается, как больная рука или испортившееся зрение.

Вопрос осложняется тем, что патологическое состояние мозга не только психофизиологическая болезнь, но также — искажение духа. Как отграничить нормальную мысль от ненормальной, здоровое ощущение, хотя бы и доступное только избраннейшему из избранных, от сознания, уродливым бредом подменяющего действительность? Поскольку человеку дано не только отражать мир явлений, но и создавать свои миры, действительность у художников-творцов, например, часто совсем не похожа на то, что называется всеми действительностью.

И еще сложнее делается проблема, когда мы имеем в виду мистические касания к «мирам иным». Где провести черту между болезненным самовнушением и прозреванием мудрости? И не доказано ли, что безумец иногда ближе подходит к тайне, к несказанному, чем здравомыслящие?

Самого Соловьева эта проблема интересовала чрезвычайно, особенно в связи с сумасшествием Ницше, умершего от паранойи (в том же 1900 году, что и Соловьев), безумные идеи которого о безбожном сверхчеловеке в то время волновали философскую мысль. «Одно из самых характерных явлений современной умственной жизни, — говорит Соловьев *, — и один из самых опасных ее *соблазнов* есть мысль о сверхчеловеке. Разве не прав несчастный Ницше, когда утверждает, что все достоинство, вся ценность человека в том, что он — *больше* чем человек, что он — переход к чему-то другому, высшему? Но Ницше не сделал из этой “правды” нужных выводов, не вспомнил, как сделал это апостол Павел, обращаясь к афинянам, о действительном сверхчеловеке, праведнике, воскресшем из мертвых; “чуждый” вере христианской и еще не дозревший до серьезной веры в будущего живого антихриста, базельский профессор стал писать о сверхчеловеке вообще, подобно тому как Тентетников, по уверению Чичикова, писал о “генералах вообще”...» — шутит Соловьев и добавляет: — «Каждый из нас есть сверхчеловек в возможности, потенциально, но чтоб стать таким в действительности, требуется, конечно, более твердая опора, чем соответственное желание чувства или отвлеченная мысль. Ницше, думая быть действительным сверхчеловеком, был только *сверхфилологом*. Собственная его история была только воспроизведением первого монолога Фауста — борьбой живой, но больной и немощной

* Соловьев В. Собр. соч. СПб., 1897. Т. X: Воскресные письма. Словесность или истина? С. 28—32.

души с бременем необъятной книжной учености. Оставаясь все-таки филологом, и слишком филологом, Ницше захотел сверх того стать «философом будущего», пророком и основателем новой религии. Такая задача неминуемо привела к катастрофе... Окончательного торжества филологии над более глубокими, но болезненными стремлениями его духа Ницше не перенес и сошел с ума. Этим он спас свою душу. В чисто физические причины душевных болезней я не верю, скоро и никто в них не будет верить (?). Психическое расстройство в случаях, подобных этому, есть крайний способ *самоспасения* (вопросительный знак и курсив мои. — С. М.) человеческого внутреннего существа чрез жертву его видимого мозгового Я, оказавшегося несостоятельным в решении нравственной задачи нашего существования».

Все, на мой слух, в этих строчках Соловьева звучит как невольное его признание о себе самом. Не стал бы он сравнивать идею ницшеанского сверхчеловечества с Богочеловечеством апостола Павла, если бы не ощущал себя самого «философом будущего», пророком и основателем новой религии, которому грозит «катастрофа», и если бы не цеплялся за мысль о психическом расстройстве (под бременем «необъятной книжной учености») как о «самоспасении человеческого внутреннего существа чрез жертву его мозгового Я, оказавшегося несостоятельным в решении нравственной задачи нашего существования».

Он хотел быть безусловно верующим, христианином, исповедующим вселенскую ортодоксию, но не так, как учили Церкви (потому и казалось ему столь легким соединение их воедино). Он причислял себя к Церкви будущего «Третьего Завета», обрекая существующие Церкви антихристову прельщению... Но в то же время разве не боялся он этой отчужденности своей от церковного сознания, этой греховности горделивого одиночества? Оставалось только сделать еще шаг во имя «искренности» и «благородства»: «самоспасться», потеряв рассудок. И не допускал он «чисто физических причин сумасшествия», вещественного детерминизма в области духа, — не потому ли не допускал, что больше всего на свете пугало его ощущение болезненных признаков в самом себе?

Иначе говоря, причина *раздвоенности* Соловьева, антиномичность его физического и духовного образа не есть ли сознававшийся им втайне психический недуг?

В последний раз я видел Соловьева незадолго до его смерти. Если память не изменяет мне, он читал свою знаменитую «Краткую повесть об антихристе» из «Трех разговоров» в зале петербургской городской Думы. Не помню, все ли читал так, как позже было напечатано в десятом томе его сочинений. Сокращенно

как будто, хотя лекция длилась около двух часов. Философ был уже серьезно болен, читал притушенным голосом, подолгу оставался, только вспышками делался опять прежним вдохновенно-темпераментным чтецом.

Каюсь: в то время лекция показалась мне вялой и неубедительной... На самом деле «Краткая повесть об антихристе» есть самое подлинное свидетельство о Соловьеве, заключительный аккорд его душевной трагедии. Всю жизнь учил он, убеждал о спасении мира от греха и смерти — *этого мира, нашей* христианской культуры, подходя к вопросу с социально-политической и религиозной точки зрения. Отсюда его мечты о вселенской теократии и близкая к Достоевскому мысль о русском историческом призвании (никто горячее и вдохновеннее не поддержал Достоевского, чем Соловьев, в его знаменитых трех речах 1881 года в память Достоевского)²⁸. Отсюда и апология Сократа, не понятого современниками мудреца-пророка, одного против всех, отсюда и увлечение теософией, историей евреев, Библией, каббалой. И все это — чтобы смолоду глодавшее его сомнение обратилось в пророчество об антихристе и связанной с ним гибели обезбоженного культурного мира...

В самом конце «Трех разговоров» читающий повесть об антихристе монаха Пансофия (т. е. всемудрого) отвечает на вопрос «Политика» о том, скоро ли «развязка» нашего исторического процесса, состоящая в явлении, прославлении и крушении антихриста: «Ну, еще много будет болтовни, суетни на сцене, но драма-то уже давно написана вся до конца, и ни зрителям, ни актерам ничего в ней переменить не позволено».

Вот в этих заключительных словах и трагизм Соловьева, одержимого мыслью о неминуемой гибели мира. Эсхатологический детерминизм Соловьева после всего им же сказанного о свободе воли, дарованной Богом человеку, самое страшное в нем.

О кончине Владимира Сергеевича в имении Узком (принадлежавшем его брату Николаю Сергеевичу, тогда отсутствовавшему) очень душевно рассказывает А. Панютина*.

Агония длилась около двух недель. Сильно страдавший больной то забывался, то приходил в себя ненадолго. Перед самым концом потребовал священника. Исповедь продолжалась целый час. Местный батюшка причастил его, примирившегося с православной Церковью. Больше он не приходил в себя. И тихо угас.



* «Последние новости», 27 ноября 1925 г.